

ГЕННАДИЙ ТРОХИН



ПРЕДАТЕЛЬСТВО

РАССКАЗ

Свёл меня с ней младший лейтенант Миша Кожич. Узнал он, что в одном доме хозяева готовы взять на постой одного или двух квартирантов, но только холостых.

Хозяйка — крепенькая ещё старушка с широко расставленными голубенькими глазками, в которых, казалось, навсегда поселилась хитринка, согласилась сразу. Показала просторную комнату с двумя высоченными, какого-то нерусского типа окнами. Цену заломила... сначала двадцать рублей. Я, было, запротестовал, но она сразу же согласилась, как будто ждала этого, на пятнадцать. Комната мне понравилась, и я отправился за вещами.

Бабка Нюра — так звали мою хозяйку — жила одна. Правда, в Минске жила её дочь с внуком, но навещали они её редко. За год, что я прожил здесь, видел их всего два раза: в Новый год да как-то осенью. Дочь была высокой, стройной. Даже можно было бы назвать её красавицей, если бы не эти тонкие, вечно опущенные в уголках губы, придававшие ей выражение капризное и высокомерное. Пышные белокурые волосы, собранные на затылке в большой кувшинообразный узел, открывали бледную, в золотистых завитках шею с родинкой возле правого уха. “Мама, вы неправильно реже-

---

*ТРОХИН Геннадий Александрович родился в 1943 году в г. Новокузнецке Кемеровской области. Окончил строительный факультет Сибирского металлургического института им. С. Орджоникидзе. Два года служил офицером в армии. Работал на стройке, в проектно-институте. Рассказы и повести публиковались в журналах “Слово”, “Смена”, “Наша улица”, “Аврора”, “Невский альманах”, “Сибирские огни”, “День и ночь”, “Огни Кузбасса”, “Чудеса и приключения” и других. Живёт в Новокузнецке.*

те картофель. Ну, зачем так крупно? — поучала она мать, как мышь, суетившуюся у плиты. — Мама, куда дели мой халат, который я вам подарила на день рождения? Он так был вам к лицу”. Она работала в школе и всегда, когда разговаривала с матерью или сыном, голос у неё был громкий, с хорошо поставленной дикцией, как на уроке. Но однажды установившееся, как я думал, навсегда, мнение моё о хозяйкиной дочери поколебалось.

Осенью, уже на втором году службы, я всю ночь был в поездке. Командир отпустил меня отсыпаться, приказав в 15-00 явиться на службу. День выдался погожий. Я шёл по тихой, заросшей акацией улице, неся в себе усталость и сладкую радость предстоящего отдыха. В калитке неожиданно столкнулся с бабкиным внуком, который выводил старенький “Диамант”. Поспешно поздоровавшись, мальчишка заюлил по дороге, с трудом перебрасывая через седло ногу.

Она стирала бельё недалеко от крыльца. Тонкие, в белой пене, руки замерли на стиральной доске, на которой я увидел свою майку в синюю полоску! Щёки её моментально покрылись таким нежным румянцем, что я невольно залюбовался ею. А когда она, стремительно повернувшись, взбежала на крыльцо, я какое-то мгновение стоял, как истукан, замороженный её сильными бёдрами, стянутыми стареньким цветастым платьем.

“Сколько же ей?.. — вздыхал я, ворочаясь в прохладной постели. — Наверное, тридцать или чуть больше? Разведённая”. Бабка Нюра однажды проговорила, что дочь ещё девчонкой выскочила замуж, не спросив у неё, за артиста областного театра, а он таким гулеваном оказался...

Сны мне снились греховные. Будто иду я по яблоневому саду в одних трусах, а впереди, словно маня меня в таинственную глубину его, мелькает между деревьями женщина. Волосы живым золотом струятся по её телу, и я явственно ощущаю их волнующий аромат. Во рту пересыхает от желания зарыться в них лицом, отчего я бегу за ней, бегу...

Когда я проснулся, её уже в доме не было — уехала в Минск. И только лёгкий аромат духов напомнил мне о моём сне и о хозяйкиной дочери.

Гордостью этого дома был сад. Посаженный ещё до войны на расчищенном от мусора пустыре, он разросся и был, пожалуй, единственной доходной частью хозяйкиного бюджета (пенсия была крошечной у бывшей кастилянши городской бани). Осенью бабка Нюра ездила продавать яблоки в Минск, в Барановичи. Несколько мешков со скидкой в цене сдавала в воинскую часть, в ресторан. Но и на местном рынке не залеживались её яблоки — крупные, с глянцевиной восковой поверхностью да с таким ароматом... Что там говорить! Слава о Нюрином *золотом наливке* дошла даже до нашего полка. Жёны офицеров покупали яблоки только у бабки Нюры — товар проверенный и надёжный. А что до солдат... Одной стороной сад примыкал к воинской части. Кирпичный забор в два метра высотой и заболоченная пустошь за ним не были помехой для любителей полакомиться чужими яблоками. Но бабка Нюра оказалась старушкой упорной, с пробивным характером. Командование полка это поняло сразу, немедленно приняв соответствующие меры: забор обтянули сверху колочей проволокой. А замполит на занятиях по политической подготовке как-то упомянул, что старшина танкового батальона Ян Иванович Кавецкий героически погиб, защищая наш город, в далёком сорок первом. До войны при танковом батальоне были развёрнуты ремонтные мастерские — старшиной там и служил её муж.

Ещё знаменит был этот дом своими наливками и настойками. Наливки бабка Нюра делала на свекольном перваче — чистой и крепкой, как зверь, самогонке. А настойки у неё получались светлыми, как слеза, пенистыми, когда откроешь плотно забитую пробку, с неповторимым ароматом чуточку залежавшихся яблок. Ну, а что до домашнего сала от её кабанчика, копчёного по-деревенски, с дымком, да и просто солёного — это надо пробовать самому: просто так не опишешь. Всё умела бабка Нюра, а вот соседи почему-то недолюбливали её. За что? Не знаю.

Из живности у неё были кабанчик Борька, дворовый пёс Жучок — злая-презлая, в вечных репьях, чёрная лохматая страшила, да кошка Машка. И всё!

Кроме меня, у бабки Нюры жила ещё одна квартирантка — угрюмая пожилая женщина, работавшая уборщицей в каком-то магазине. Выходила она из своей комнаты, расположенной сразу за кухней, редко. Поздоровается и спрячет глаза под брови. Нелюдимая была. Сын её, вечно пьяный сорокалетний мужчина, проводывал мать редко. Недолгоблывала его бабка Нюра — называла сыном колбасника, непутёвым. Да и с его матерью не больно-то была ласкова — частенько переругивались они за стенкой. Какая-то скрытая угроза (так мне казалось) затаилась в маленьких глазках молчаливой квартирантки. Меня всегда удивляло: почему не откажет ей? Человек она в таких делах решительный, к тому же довольно бесцеремонный.

Вставала бабка Нюра с рассветом. Нешуточное это дело — обработать такой сад. Переваливаясь на толстеньких ножках, суетилась до темноты. Попробовал я однажды помочь ей, а главное — поглядеть захотелось на её знаменитые яблоки, но хозяйка посмурнела сразу лицом и нашла какие-то отговорки. Если бы не лето — яблоки висели зелёные, неаппетитные, — подумал бы: ну, и жадина же ты, бабуся.

Весной у бабки Нюры хлопот — невпроворот. Надо землю вскопать, навоз раскидать, грядки сделать, посадить, деревья к лету подготовить. Руки уже не те: до всего не доходят. А тут ещё погреб просел. Доски завезены, творило готово — сосед за бутылку наливки сколотил, и попросила меня бабка Нюра солдатиков ей в помощь дать. На выходной. “А я уж накормлю их досыта, напою... Компотом, компотом”, — быстро спохватилась бабка Нюра, встретив мой недовольный взгляд.

Переговорил я со старшиной роты и после завтрака, а было это 9 Мая, привёл четырёх солдат. Парни истосковались по домашней жизни, да тут ещё хозяйка пообещала накормить их настоящим борщом, на второе — жареной картошкой со свиными шкварками. С погребом уже заканчивали, когда рядовой Виноградов поманил меня в глубину сада. Я пошёл за ним. В самой дальней, заброшенной его части, под большой, с двумя уродливо изогнутыми стволами яблоней он указал на холмик. Поперёк него лежал деревянный крестик, а по бокам торчали из земли три обгоревшие восковые свечи. Земля на холмике была не слежавшейся, как после зимы, а взрыхлённой, чёрной. Виноградов вопросительно посмотрел на меня.

— Не спрашивай её. Я сам... — попросил я солдата, когда шли обратно.

Бабка Нюра принимала работу. С одного бока пришлось ещё подбросить земли, а с другого — подправить, да и сверху насыпано неровно. Нас она встретила настороженно, изучающим, долгим взглядом впилась в мои глаза. Приняв погреб, плотно притворила калитку, ведущую в сад, намотала ещё для пущей надёжности проволоки.

Бабка Нюра немного перестаралась: угостила солдат яблочной настойкой. Когда, отяжелевшие от домашнего обеда, они ушли, я отчитал её за это. “В День Победы можно, лейтенант. Помаленьку ведь”, — оправдывалась бабка Нюра, убирая со стола. А потом возьми да и спроси:

— Чего это вы в сад ходили?

...Бабка Нюра долго сидела, отрешённо глядя в угол кухни. Хитринки в её голубеньких глазках растаяли, как снежинки, и стали они беспомощными и пригорюнившимися, как у вконец уставшей от одиночества и воспоминаний старой женщины. А тут ещё в проёме перегородки появилось хмурое лицо квартирантки. Бабка Нюра в сердцах запустила в неё тряпкой и тоненько, пронзительно закричала: “Уйди, злыдня! Сколько будешь кровушку мою пить? Сгинь! Сгинь с глаз моих! Кикимора сушёная!”

Чего-чего, но такого я от моей хозяйки не ожидал. Когда мы снова остались одни, бабка Нюра спустилась в подпол, достала своей знаменитой наливки на свекольном самогоне.

— Значит, видел ты её... — полуутвердительно заключила она, когда мы вышли по стопке густой, золотистой, как вечерний закат, наливки.

Бабка Нюра слегка порозовела. Морщинки на её круглом, как яблоко, лице разгладились. И, махнув на всё, на всё на свете своей маленькой, с растопыренными пальцами, ладошкой, она неожиданно рассказала мне эту историю — историю своего предательства. Рассказала на одном дыхании, слов-

но скинула разом с плеч тяжёлый груз, непосильной ношей давивший на неё все эти послевоенные, годы.

— Только отстроились, — начала она свой рассказ, — война! Этот дом сложил из сосновых брусьев сам Янек. Работящий был у меня мужик. С тридцать девятого с ним, как встала ихняя часть в нашем райцентре. В сороковом Светочка родилась. Перед тем как прийти немцам, колонна наших отремонтированных танков ночью ушла из города. С ними и мой муж. Толком так и не попрощались. С тех пор — ни слуху, ни духу о нём. А потом... — Она осенила себя крестом и, отпив полстопочки, продолжила: — Потом и случилось это...

Немцы появились утром. А в обед забегает ко мне солдатик. Без гимнастёрки, пилотку где-то потерял, на ногах обмотки, одна рука выше локтя забинтована. “Тётя! — кричит. — Спрячь меня!” А я во дворе со Светочкой была. Только его в сарай, за дрова, отвела — немцы! С ними этот... колбасник, пан Туроль. Как потом я проведала, видел он, как солдатик ко мне заскочил.

Немцы что-то лопочут по-своему и кивают пану Туролью: переведи, мол. Я-то знаю: по-ихнему он ни бельмеса не понимает. А он напыжился, как петух, и говорит мне: “Покажи-ка, Анна, куда ты краснопузого спрятала?” Я похолодела вся, но вида не показываю. Прикинулась дурочкой: мол, не ведаю, о чём ты спрашиваешь. Немцы загалдели: видать, догадались по моим глазам, что я ответила. А один, самый молодой, рыжий, бросил автомат на землю и ко мне подходит. Что-то говорит да руками такое мне показывает, что стыдно стало. И на землю показывает: ложись, давай. А потом в Светочку ткнул пальцем и губами пухкает, а сам на автомат головой кивает. Обомлела я. А когда он мундир стал растёгивать, схватила Светочку, прижала к себе. Думала: не посмеет. Посмел ведь. При всех... Даже Светочки не постеснялся. Остальные гогочут. Под конец Светочку к забору поставил и автоматом в неё целится. Всё у меня внутри оборвалось. Всё стерпела бы, но Светочку, кровинушку нашу с Янеком, не отдам! Показываю глазами на сарай. Поняли они сразу. А пан Туроль: “Эх, Анна, не надо было тебе доводить до этого”. И ухмыляется в усы свои тараканьи.

Когда солдатика нашего из сарая выволокли, по моему виду он всё, наверное, понял, что со мной произошло. О, Господи! Царствие ему небесное. Изрешетили всего бедняцкого. Прямо на моих глазах умер с поленом в руках. А на прощание один так меня приложил прикладом по голове, что не помнила, сколько пролежала без памяти. — Она наклонила голову и, убрав со лба седенькую прядь, показала мне синеватый шрам. — Когда пришла в себя, оттащила солдатика в сарай. А ночью похоронила его в саду, под яблоней. Видел ты это место. О-о-о, Господи!

— Кто ещё про это знает? — прервал я горестные восклицания бабки Нюры.

— Никто. Кроме пана Туроля и его жены — никто. Пана Туроля в конце войны наши повесили, — добавила бабка Нюра.

— А жена?

— Жена его? У меня живёт. Кикимора проклятая! Как освободилась, сюда приехала. Уж который год терплю её. За комнату не платит. Деньги в долг требует, а не отдаёт. И даю ведь кикиморе этой: боюсь, что выдаст меня. Так и несусь этот крест. А ты расскажешь? — вдруг с запоздалым раскаянием в голосе спросила меня бабка Нюра. — Ох-х! Лейтенант, — уронив на стол голову, заплакала бабка Нюра, — открыться бы мне! Поди, родные у него живы ещё?

— Как теперь узнаешь? — вздохнул я.

— А... и узнаешь! Когда в ту зиму дрова в сарае брала, нашла солдатскую книжку его. Спрятанная в поленице лежала. Сейчас у меня хранится, в укромном месте. Показать? Мне теперь всё равно. А хоть и посадят! И-и-и...

— Не посадят! — стал успокаивать я вконец зарёванную бабку Нюру. — Не посадят! Ясно вам! Родные его ещё спасибо вам скажут, что могилу сохранили.

— Правда, лейтенант?.. — сложив крестом на груди руки, снова заревела бабка Нюра.

В военкомате работал наш бывший офицер. Выслушав меня, оставил у себя солдатскую книжку. Только одного я не сказал тому офицеру... Да и зачем ему об этом знать? Теперь — это наша с бабкой Нюрой тайна.

Долго искали в Красноярском крае родных того солдата. Пролетел месяц, другой. Тот офицер при встрече хмуро отвечал: “Запрос послали. Ждите”. Я уже и в отпуск съездил, в далёкий Новокузнецк. А запрос, отпечатанный на казённом бланке районного военкомата города Несвижа, всё гулял где-то по северному краю. Может, и нет сейчас уже этого посёлка?

В тот день я задержался на службе. Улица пахла поздними яблоками и соленьями: шла заготовка к зиме. А зима в Белоруссии такая же ранняя, как в моей далекой Сибири. “Стоп! Кто это?” У калитки, как мне показалось, чем-то встревоженная, стояла бабка Нюра.

— Ой! Лейтенант, что будет? Что будет-то? — запричитала она. — Объявились его родные: мать и две сестры. Грозятся приехать на той неделе.

— Откуда такие вести?

— Да офицер из военкомата приходил. Вот письмо, — она в полной растерянности показала мне конверт.

— Куда я их посело? А кормить?

Нюра опять стала бабкой Нюрой. Гости-то гостями, а семейный бюджет её не должен от этого страдать.

— Не на месяц же? — успокоил я её.

— Ты думаешь? — неуверенно переспросила меня бабка Нюра.

Пошла вторая неделя, а подтверждения того, что они приезжают, так не поступило. “И не приедут ведь...” — вздыхала бабка Нюра. Она уже и водки прикупила, разных деликатесов, повкусней каких. А остальное у неё всё своё: огурчики солёные и маринованные, помидорчики с капустой, сало домашнее, компоты, а про наливку с настойкой нечего и говорить. А уж рыбка копчённая — пальчики оближешь! — сосед уважил, рыбинспектор на загородных прудах. Всё припасла бабка Нюра, а их всё нет и нет. А может... Не любят русские люди, особенно из провинции, докучать хозяевам. Так оно и вышло...

Тихо и незаметно в прохладный субботний день (бабка Нюра только принялась солить капусту) к калитке ограды её дома подошли три скромно одетые женщины. С деревенским загаром, продубившим простые, грубоватые лица, все, как одна, сероглазые; у самой пожилой из них глаза были только совсем-совсем светлые, будто выцвели на солнце, даже зрачков не видеть. В тот день я на службу не пошёл: ангина припекла.

— Кавецкие тут живут? — вместо приветствия спросила та, что была помоложе.

Увидел я их, когда они ещё только искали калитку. Натягивая на ходу китель, ринулся сломя голову к выходу. А от стола уже, уточкой переваливаясь на полных ножках, в стареньком фартуке, устремилась к ним бабка Нюра. У старшей вывалились из рук сумки. Она, как слепая, сделала два шага вперёд. И вот, задыхаясь от рыданий, они замерли в объятиях, словно слились воедино друг с другом.

— Ой! Да что это я? — спохватилась вдруг бабка Нюра. — Ой, ой! Совсем свихнулась. Проходите в дом. Утомились в дороге-то.

Старшая замотала головой, и я услышал её тихий, испепеляющий душу, шёпот:

— Где?..

Я занёс в дом вещи и поспешил за ними в сад. Когда я догнал их, они уже были там. Старшая, как была в синем плаще и в чёрном платке на голове, так и рухнула на этот холмик. Дочери хотели поднять её, но она словно окаменела, вцепившись скрюченными пальцами в пожухлую землю.

— Оставьте уж её... — прошептала бабка Нюра. — Пусть побудет с ним. А мы пока отойдём, не будем им мешать.

Не мог я в тот день находиться с ними: какой-то жгучий ком подкатывался к горлу, начинали гореть щёки. Когда я выходил из калитки, навстре-

чу мне попался тот офицер, из военкомата, а с ним военком, знаменитый партизанский комбриг, с огромным букетом роз.

— Где они?.. — не отвечая на моё приветствие, спросил полковник.

— Там... — махнул я рукой в сторону сада.

— Лейтенант! Что у тебя с глазами? — донеслось мне вдогонку, но я уже был далеко. Я шёл, как пьяный, почти ничего не видя перед собой.

— Девочки! — услышал я откуда-то сбоку. — Гляньте-ка: офицер плачет!

— Ой! Мамочка! И правда...

Я дотронулся до щеки — она была мокрой.

Сколько лет минуло с той поры! Но в День Победы, когда у тестя поднимаем ставший уже ритуальным стакан простой русской водки, перед глазами всегда почему-то встаёт тот холмик в яблоневом саду и три обгоревшие восковые свечи. И ещё... две постаревшие женщины: одна круглолицая, с широко расставленными голубенькими глазками, обнимает другую, с почерневшим от горя лицом.

А звали того солдата Иван. Збруев! Иван!